

«Молчание народа»:

еще о французских реминисценциях «Бориса Годунова»

Мария Неклюдова
Москва

Среди культурно-исторических ассоциаций, окружающих заключительную ремарку «Бориса Годунова», особое место принадлежит сентенции “Le silence des peuples est la leçon des rois” [«Молчание народа – урок для королей»], которая отсылает не к одному, а к целому ряду литературных текстов и исторических сюжетов. По предположению М.П.Алексеева, Пушкину она могла быть известна в качестве крылатой фразы, брошенной Мирабо на следующий день после взятия Бастилии, когда Людовик XVI должен был посетить Национальную Ассамблею. Эту сцену неоднократно описывали историки Французской революции. В частности, у Пушкина под рукой были версии Тьера и Мерийу, автора биографического очерка о Мирабо. Однако сам Мирабо заимствовал эту максиму из «Надгробного слова Людовику XV» (1774) Жана де Бове, епископа Сенесского, — сочинения, имевшего широкий общественный резонанс и неоднократно переиздававшегося. В силу этого есть вероятность, что оно также находилось в поле зрения Пушкина. Кроме того, слова знаменитого проповедника быстро перешли в разряд общих мест и могли распространяться изустно или через посредство других сочинений. Из перечисленных возможностей М.П.Алексеев отдавал предпочтение первой (Мирабо), аргументируя свой выбор, с одной стороны, пушкинским интересом к истории Французской революции, а с другой – доступностью соответствующей литературы (трудов Гизо, Тьера, Баранта, и проч.).¹

Точка зрения М.П.Алексеева прочно вошла в научный обиход, и в комментариях к трагедии, как правило, можно видеть двойную ссылку на Мирабо и Бове. Однако, если придерживаться очерченного круга источников, обращает на себя внимание тот факт, что у Тьера и Мерийу рассказ о заседании 15 июля 1789 года существенно разнится, причем именно в части, касающейся знаменитой реплики. Согласно Тьеру, на заседании 15 июля Национальная Ассамблея

намеревалась отправить королю очередную депутацию с просьбой вывести войска за пределы Парижа. Накануне была взята Бастилия, хранившееся в крепости оружие разошлось по рукам, и в городе царили панические настроения. «Более неистовый, чем когда-либо», Мирабо напутствовал депутатов:

Dites-lui que les hordes étrangères dont nous sommes investis ont reçu hier la visite des princes, des princesses, des favoris, des favorites, et leurs caresses, et leurs exhortations, et leurs présents; dites-lui que toute la nuit ces satellites étrangers, gorgés d'or et de vin, ont prédit dans leurs chants impies l'asservissement de la France, et que leurs vœux brutaux invoquaient la destruction de l'Assemblée nationale; dites-lui que, dans son palais même, les courtisans ont mêlé leurs danses au son de cette musique barbare, et que telle fut l'avant-scène de la Saint-Barthélemy.

Но депутация не успела исполнить своей миссии, поскольку стало известно, что король сам прибудет к народным представителям, без охраны и придворной свиты. «Les applaudissemens retentissent: «Attendez, reprend Mirabeau avec gravité, que le roi nous ait fait connaître ses bonnes dispositions. Qu'un morne respect soit le premier accueil fait au monarque dans ce moment de douleur. Le silence des peuples est la leçon des rois!»² Несколько иначе эти же обстоятельства представлены у Мерийу. По его словам, «avant que Louis XVI arrive, Mirabeau demande à l'assemblée de s'abstenir de toute marque d'improbation; car, dit-il, le silence des peuples est la leçon des rois». Когда же король «стоя и с непокрытой головой» сообщил Ассамблее об отсылке войск, «радости не было предела».³

В своих выводах М.П.Алексеев опирался на версию Тьера: «мрачное молчание» народных представителей и жребий, ожидавший Людовика XVI, позволяли говорить о «довольно близком соответствии» событий, происходивших 15 июля 1789 года, и финала пушкинской трагедии.⁴ Однако расхождение между Тьером и Мерийу показывает, что сентенция Мирабо и обстоятельства, ей сопутствовавшие, уже несколько десятилетий спустя не имели однозначного толкования. У Тьера призыв к молчанию был ответом на рукоплескания Ассамблеи, готовой встретить короля подобающими изъявлениями радости. Напротив, у Мерийу он выступал в качестве альтернативы слишком бурному выражению негодования.⁵ Оба историка сходились в том, что Мирабо вел политическую игру, умело манипулируя настроениями народных представителей, чтобы тем самым воздействовать на короля. В этом смысле безмолвие Ассамблеи было про-

думанным и демонстративным жестом. Произнося сентенцию «молчание народа – урок для королей» Мирабо, по всей видимости, рассчитывал на немедленное опознание исторической реминисценции – как со стороны депутатов, так и, что более существенно, со стороны Людовика XVI.

Это возвращает нас к «Надгробному слову Людовику XV» Жана-Батиста-Шарля-Мари де Бове (1731–1790), произнесенному в монастырской церкви Сен-Дени 27 июня 1774 года. Известный проповедник был выходцем из третьего сословия и с трудом добился епископата: многие при Дворе придерживались мнения, что духовные заслуги не искупали незнатного происхождения (естественно, что, в отличие от армии, где старшие офицерские чины были доступны лишь при наличии дворянского звания, здесь речь шла об устоявшейся практике, противоречившей церковным уложениям). Назначение Бове состоялось лишь в 1773 году, а в великий четверг 1774 года он прочел в Версале проповедь, избрав своей темой слова пророка Ионы «Еще сорок дней, и Ниневия будет разрушена» (Иона 3:4). Эта речь произвела неизгладимое впечатление на современников, не только ораторским искусством, но и тем, что оказалась пророческой: через сорок дней Людовик XV скончался.⁶ Это нечаянное предвидение придало особый авторитет надгробному слову, произнесенному Бове 27 июня. Он говорил о том, что любовь к монарху отнюдь не является обязанностью народа и может быть утеряна, как это случилось с Людовиком XV, в первые годы правления нареченным «Возлюбленным»:

Car ce n'est point la voix des Grands, toujours suspecte de flatterie; ce n'est point le suffrage pompeux des Cités qui décerna à Louis ce beau nom; c'est la voix libre & ingénue du Peuple, de ce Peuple qui ne sais point flatter les Rois, & qui ne suit que les mouvemens de sa franchise & de sa tendresse: c'est le cri du Peuple, qui le proclama Louis le Bien-Aimé. Hélas! nous ne pouvons nous dissimuler combien le malheur des temps a paru refroidir parmi les François les démonstrations de cet amour. Ainsi Dieu permet que les Peuples donnent aux Princes cet avertissement, pour leur apprendre que si le respect & l'obéissance sont un devoir inviolable, l'amour des Peuples, la plus belle gloire & la plus douce récompense de la Royauté, l'amour des Peuples est un sentiment libre, qui n'est dû qu'aux bienfaits & à la vertu. Alors quand le Prince paroît en public, il n'entend plus retentir autour de lui les acclamations de ses Sujets: le Peuple n'a pas, sans doute, le droit de murmurer; mais, sans doute aussi, il a le droit de se taire; et son silence est la leçon des Rois.⁷

Таким образом, в глазах проповедника стихийное молчание народа означало утрату государем самого ценного – любви собственных подданных. Служитель Церкви, Бове не ставил под сомнение провиденциальную природу монархии, но, человек XVIII столетия, он считал необходимым оправдать долг повиновения любовью. Отсутствие последней не давало подданным права на бунт, но лишало власть ее сакрального ореола. (Попутно заметим, что горячо обсуждавшееся по крайней мере с XVI века «право на бунт» вступало в силу тогда, когда монарх превращался в «тирана»: это переименование делало дозволенным то, что в обычных условиях считалось немыслимым. Так, один из несостоявшихся убийц Генриха IV считал свое покушение на жизнь «тирана» законным и похвальным⁸).

Когда Мирабо призывал Национальную Ассамблею встретить Людовика XVI безмолвием, он, по-видимому, стремился показать монарху, что тот лишился любви своих подданных. Однако – и в этом состоит примечательная особенность этой сцены – народный трибун хотел это сделать, не разрушая заведенного порядка. Молчание служило предостережением, но также свидетельствовало о желании избежать окончательного разрыва между государем и его народом. По крайней мере, так истолковывал эту сцену Мерийу, и, как представляется, его точка зрения заслуживает доверия, поскольку она продолжает логику Бове и делает оправданным использование сентенции. Что касается Тьера, то предложенная им реконструкция событий выглядит более противоречивой. Препятствуя проявлению верноподданнических чувств, Мирабо у Тьера, по сути, прибегает к политическому шантажу – «унылое почтение» Ассамблеи становится способом давления на короля. В таком контексте реминисценция из Бове приобретает почти пародийное звучание, а народное безмолвие оказывается представлением, разыгранным специально для короля (что, впрочем, не меняет основного смысла этого жеста, поскольку, как утверждал сам Бове, долг подданных выражался именно в почтении).

Если считать, что сентенция «молчание народа – урок для королей» была известна Пушкину только в качестве крылатой фразы Мирабо (в изложении Тьера и Мерийу) или Бове, то ее смысловой потенциал был более или менее равен одному из многократно цитировавшихся случаев народного безмолвия в *Истории государства Российского*: «...молчание народа, служа для царя явной укоризною, возвестило важную перемену в сердцах россиян: они уже

не любили Бориса!»).⁹ (Между прочим, карамзинская фраза свидетельствует о его вероятном знакомстве с изречением Бове, поскольку в середине XVIII столетия слово «leçon», помимо своего прямого значения — «наставление в науках; задание, которое следует выучить наизусть» — стало подразумевать и укор.¹⁰) Однако Пушкин должен был столкнуться с ней еще в одном историческом контексте, отчасти изменившем исходный смысл слов Бове. Речь идет о «Мемуарах» Жозефа Фуше (1759 – 1820), которые в конце января – начале февраля 1825 года он настоятельно просил брата прислать ему в Михайловское (просьба повторена в письмах от 14 марта и 22–23 апреля 1825 года). Интерес Пушкина был, по-видимому, обусловлен тем грандиозным скандалом, который разыгрался вокруг посмертной публикации записок бывшего министра полиции. Наследники Фуше подали в суд на издателей «Мемуаров», объявив их подделкой. Процесс по этому делу слушался в октябре – декабре 1824 года и широко освещался прессой. Насколько можно судить, окончательный текст «Мемуаров» действительно был составлен двумя бывшими агентами Фуше, Альфонсом де Бошамом и Луи-Паскалем Жюллианом, но на основе подлинных документов.¹¹ В последние годы жизни, находясь в изгнании, опальный министр неоднократно объявлял о работе над «Мемуарами», отчасти пытаясь шантажировать ими своих оставшихся в силе коллег, однако вряд ли успел завершить задуманное. Как отмечали журналисты, громкий процесс лишь усугубил интерес публики к «Мемуарам» человека, чья карьера и так была необычна.¹²

Выходец из третьего сословия (его предки были мореходами и купцами), Фуше сперва вступил на стезю преподавателя физики в ораторианских коллежах Арраса (где свел знакомство с Робеспьером), а затем Нанта. Позднее памфлетисты охотно именовали его расстригой, хотя на самом деле Фуше не приносил обета и был волен в любой момент вернуться к мирской жизни — что он и сделал, женившись в 1792 году (отнодь не гражданским браком, а как положено, обвенчавшись в церкви) и добившись избрания в Конвент. Там он примкнул к якобинцам и голосовал за казнь Людовика XVI. Но клеймо «цареубийцы», о котором будут много писать во время Реставрации, было не самой темной страницей его прошлого, так как на нем лежала ответственность за массовые расстрелы в Лионе в 1793 году. В 1794 году, спасаясь от расправы за былые заслуги, он проявил незаурядный дипломатический талант, сплотив противников

Робеспьера и став одной из движущих сил переворота 9 термидора. В 1799 году Директория назначила его министром полиции. По некоторым свидетельствам, вскоре он стал во главе заговора, приведшего к известным событиям 18 брюмера. С этого момента и практически вплоть до падения Наполеона (за исключением кратких опал) Фуше возглавлял министерство полиции. Во время Ста дней он, оставаясь рядом с Наполеоном, активно способствовал возвращению престола Людовику XVIII, что позволило ему сохранить ранг министра и титул герцога Отрантского вплоть до 1815 года. Далее последовала неминуемая опала и удаление от дел.

«Мемуары» Фуше в основном посвящены его министерской карьере при Наполеоне, который относился к нему с недоверием, но не без своеобразного уважения. Действительно, его незаурядная политическая живучесть и, по-видимому, полная неспособность к личной преданности, отнюдь не означали отсутствия принципов. Фуше был сторонником мирной политики и не одобрял военные кампании Наполеона. Во внутренних делах он ратовал за разумный компромисс, равно преследуя предводителей Вандеи и крайних якобинцев, но не тревожа умеренную оппозицию. Считая себя человеком Революции, он долгое время не поддерживал идею превращения первого консула в императора, за что в 1802 году на время поплатился министерским портфелем. Накануне опалы Фуше был отчасти свидетелем, отчасти вдохновителем неприятной для Наполеона сцены: 21 августа 1802 года, первый консул, чья должность только что была объявлена пожизненной, отправился председательствовать в Сенат, избравший его своим главой:

Le cortège, allant et venant, ne fut salué ni par des acclamations, ni par aucun signe d'approbation de la part du peuple, malgré les démonstrations et les salutations du Premier Consul, et particulièrement de ses frères, devant la foule assemblée derrière le cordon des soldats bordant la haie. Ce morne silence, et l'espèce d'affectation que mirent la plupart des citoyens à ne pas même vouloir se découvrir au passage de leur magistrat suprême, blessèrent vivement le Premier Consul. Peut-être se rappela-t-il, à cette occasion la maxime si connue: «Le silence des peuples est la leçon des rois!» maxime qui fut placardée le soir même et lue le lendemain aux Tuileries et dans quelques carrefours.¹³

Фуше, безусловно, нес долю ответственности за этот инцидент. Когда Наполеон упрекнул его в дурной организации дела, то министр не без язвительности заметил, что отказался от каких-либо ухищре-

ний по прямому указанию первого консула. Трудно сомневаться в том, что, зная общественные настроения, он предвидел прием, ожидавший новоизбранного главу Сената и, исполнив пожелание последнего, Фуше дал ему возможность почувствовать отношение сограждан.

По мнению министра, молчание парижан имело тогда особый смысл. Как он объяснил раздраженному Наполеону, «мы все те же древние галлы, которых изображают неспособными выносить ни свободу, ни угнетение. <...> в последних правительственных переменах парижанам видится полная утрата свободы и слишком явное склонение к абсолютной власти».¹⁴ Иными словами, народ не приветствовал своего «верховного магистрата» потому, что, получив контроль над Сенатом, Наполеон узурпировал функции, находившееся вне его законной должности, тем самым явив стремление к деспотическому управлению государством. В этом контексте сентенция об «уроке королям» приобретала несколько неожиданное звучание: молчание народа должно было предупредить первого консула, что его превращение из «магистрата» в «короля» не прошло незамеченным. По выражению Фуше, основой этому типу «пожизненной монархии» мог служить лишь «меч [Наполеона] и его победы».¹⁵ Ей можно было бы придать законности, если бы правление Наполеона стало «отеческим, приветливым, сильным и справедливым», то есть если бы оно, по сути, воскресило дореволюционную систему взаимоотношений между государем и подданными: народная любовь легитимизировала бы узурпацию власти. Однако Наполеон отнюдь не разделял политической философии своего министра и отказывался признавать принципиальный характер народного молчания: «То, что зовется общественным мнением, слишком причудливо и непостоянно; я найду способ его улучшить».¹⁶ Заметим в скобках, что это один из повторяющихся мотивов «Мемуаров» Фуше, который не раз подчеркивал, что его профессиональное убеждение в невозможности полного контроля над общественными настроениями не совпадало с мнением Наполеона, всегда видевшего в них предмет неограниченных манипуляций.

Можно не сомневаться, что Фуше прекрасно помнил, кому принадлежала сентенция «молчание народа – урок королям»: выученик ораторианцев и профессор их коллежей, он должен был знать традицию церковного красноречия. И есть допустимо предположение, что ее появление на стенах Тюильри вряд ли произошло без его

ведома. По-видимому, тем самым он хотел убедиться, что смысл народного молчания не прошел незамеченным. Повторяя словесный жест Бове и Мирабо, он напоминал первому консулу о том, что гибель постигает даже монархии, основанные на давней традиции, и что лишившись символической опоры на Революцию, тот, скорей всего, проиграет Бурбонам.

Таким образом, в «Мемуарах» Фуше народное молчание было сопряжено с проблемой узурпации власти и утверждения личной монархии. В сюжетном и идеологическом смысле эта коллизия несколько ближе к финалу «Бориса Годунова», нежели та, что послужила поводом для красноречия Бове или Мирабо. Такое сближение представляется неслучайным. Зимой-весной 1825 года, когда Пушкин просил брата прислать ему записки Фуше, замысел трагедии уже принял определенную форму. Воспоминания французского «расстриги», деятельного участника многих великих потрясений другой смутной эпохи, могли быть полезны для будущей работы. Вероятно, именно этим была обусловлена неожиданная готовность променять на них «всего Шекспира». ¹⁷ Однако рассказ Фуше о событиях 21 августа 1802 года был как раз удивительно созвучен сцене из шекспировского «Ричарда III», чье сходство с финалом «Бориса Годунова» в 1946 году отметил Г.Гиффорд. ¹⁸

GLOUCESTER

How now, my lord, what say the citizens?

BUCKINGHAM

Now, by the holy mother of our Lord,
The citizens are mum and speak not a word.

.....

And when mine oratory grew to an end
I bid them that did love their country's good
Cry 'God save Richard, England's royal king!'

GLOUCESTER

Ah! and did they so?

BUCKINGHAM

No, so God help me, they spake not a word;
But, like dumb statues or breathing stones,
Gazed each on other, and look'd deadly pale (III, 7).

Иными словами, записки Фуше косвенным образом подтверждали историческую правоту Шекспира: вымысел в данном случае переключался с подлинными событиями (пусть даже Пушкину, скорей всего, было известно, что откровения бывшего министра полиции счита-

лись фальшивкой). Это многообразие исторических и литературных реминисценций, связанных с коллизией народного безмолвия, могло послужить одним из аргументов при выборе между двумя вариантами финала: «Народ безмолвствует» и «*Народ*: Да здравствует царь Димитрий Иванович!».

Примечания

¹М.П.Алексеев, «Ремарка Пушкина “Народ безмолвствует”», в его кн.: *Пушкин: Сравнительно-исторические исследования* (Ленинград: Наука, 1972), стр. 231–237.

²A.Thiers. *Histoire de la Révolution française*. Neuvième édition. T. 1 (Paris: Furne et Cie, 1839), pp. 101–102. Инвективу Мирабо так же см.: *Œuvres de Mirabeau*, précédées d'une notice sur sa vie et ses ouvrages, par M.Ménilhou. T. I. *Discours et opinions* (Paris: Lecointe et Pougin, & Didier, 1834), pp. 152–153.

³*Œuvres de Mirabeau*, pp. LXXXVI–LXXXVII.

⁴М.П.Алексеев, «Ремарка Пушкина “Народ безмолвствует”», стр. 234. Заметим, что у Алексеева в цитате из Тьера фигурирует именно «молчание» (а не «почтение»). Что касается точного эквивалента прилагательного “*morne*”, то словари эпохи различали в нем два оттенка: с одной стороны, грусть переходящую в мрачность, с другой – уныние, родственное подавленности — см.: *Dictionnaire de l'Académie française* (Paris, 1798) (art. “*morne*”). Второе более соответствует тому смыслу, который вкладывал в понятие «почтения» Жан де Бове (см. ниже).

⁵Естественно, что это расхождение так же было обусловлено различной оценкой личности Мирабо и его роли в событиях Революции. Однако нас здесь интересуют не партийные предпочтения, а идеологические матрицы. В этом смысле Адольф Тьер (1797–1877) и Жозеф Мерийу (1788–1856) – фигуры сопоставимые: оба были адвокатами и литераторами, оба после июньской революции 1830 года заняли высокие государственные посты. Напомним, что труд Тьера был впервые опубликован в 1823 г., а Мерийу – в 1827 г.

⁶L.-G.Michaud. *Biographie universelle ancienne et moderne: histoire par ordre alphabétique de la vie publique et privée de tous les hommes*. Publ. sous la dir. de M. Michaud; ouvrage réd. par une société de gens de lettres et de savants. T. 3 (Paris: Thoissnier Desplaces, 1843), pp. 427–428.

⁷J.-B.-Ch.-M. de Beauvais. *Oraison funebre de très-grand, très-haut, très-puissant et très-excellent prince Louis XV le bien-aimé, roi de France et de Navarre* (Paris: Guillaume Desprez, 1774), pp. 20–21.

⁸J.-M.Constant. *La folle liberté des baroques (1600–1661)* (Paris: Perrin, 2007), p. 113.

⁹Н.М.Карамзин. *История государства Российского*. Том XI (С.-Петербург, 1824), стр. 109.

¹⁰См., к примеру, *Dictionnaire de l'Académie française* (Paris, 1798) (art. "leçon").

¹¹Об этом процессе см. статью Клемана Рошеля в изд.: P.-J.Proudhon. *Commentaires sur les Mémoires de Fouché, suivis du Parallèle entre Napoléon & Wellington. Manuscrits inédits publiés par Clément Rochel* (Paris: Paul Ollendorff, 1900), pp. I-LVII.

¹²См.: Madelin L.Fouché: 1759 – 1820 (Paris: Plon, 1955), pp. 381–382.

¹³*Mémoires complets et authentiques de Joseph Fouché, duc d'Otranto, ministre de la police générale*. Texte collationné d'après l'édition originale de 1824 et orné de 28 gravures (Paris: Jean de Bonnot, 1984), p. 153.

¹⁴Там же.

¹⁵Там же, p. 152.

¹⁶Там же, p. 153.

¹⁷См. письмо Л.С.Пушкину, датируемое концом января – первой половиной февраля 1825 г.: «...милый мой, если только возможно, отыщи, купи, выпроси, укради Записки Фуше и давай мне их сюда; за них отдал бы я всего Шекспира; ты не воображаешь, что такое Fouché! Он по мне очаровательнее Байрона. Эти записки должны быть сто раз поучительнее, занимательнее, ярче записок Наполеона, т.е. как политика, потому что в войне я ни чорта не понимаю» — А.С.Пушкин. *Полное собрание сочинений*. Том XIII, стр. 142–143.

¹⁸H.Gifford, «Shakespearean Elements in "Boris Godunov"», *The Slavonic and East European Review*. Vol. 26 (1946), p.156.

STANFORD SLAVIC STUDIES

Volume 35

Series Editors

Lazar Fleishman
Joseph Frank
Gregory Freidin
Monika Greenleaf
Gabriella Safran
Richard Schupbach

Russian Literature and the West
A Tribute for David M. Bethea

PART I

Edited by
Alexander Dolinin
Lazar Fleishman
Leonid Livak

Stanford, 2008